

# ФИЛОСОФИЯ



Научный ежегодник Института философии и права  
Уральского отделения Российской академии наук  
2015. Том 15. Вып. 1, с. 5–27  
<http://yearbook.uran.ru>

## СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ – ВИРТУАЛЬНЫЙ БУНТ ПРОТИВ СУДЬБЫ

УДК 124.6:128/129

### Михаил Алексеевич Малышев

профессор-исследователь гуманитарного факультета  
Автономного университета штата Мехико,  
член редколлегии журналов *Ciencia ergo sum*, *La Colemena*, *Contribuciones desde Coatepec*, г. Толука, Мексика.  
E-mail: [mijailmalychev@yahoo.com.mx](mailto:mijailmalychev@yahoo.com.mx)

Автор анализирует виртуальный дискурс в сослагательном наклонении. «Мы бы могли» – это признание необратимости времени, и одновременно, попытка оценить неиспользованные возможности с позиции настоящего. Последнее никогда не станет тем, чем оно было в прошлом, но и сослагательное наклонение также не откажется от своих притязаний преподать настоящему урок насчет того, что могло бы произойти, если бы случившееся не произошло или произошло, но совсем по-другому. Автор показывает, что если бы не существовало различие между тем что мы делаем и тем что мы могли бы сделать, то исчезли бы многие наши эмоции: угрызение совести, стыд, вина, скорбь. Для изучения прошлого историку также важно принять во внимание не только то, что реально произошло, но и то, что могло бы случиться в изучаемый им период, ибо только так историк будет располагать возможностью рассматривать историю как взаимодействие и борьбу различных групп, которые исходя из своих планов и проектов в прошлом (которое было для них настоящим) старались воплотить в будущее то, что казалось им тогда наиболее целесообразным, оптимальным и справедливым.

*Ключевые слова:* сослагательное наклонение, виртуальный дискурс, возможность, вина, месть, история, судьба

**Сослагательное наклонение и необратимость времени.** В известной книге Льюиса Кэрролла «Приключение Алисы в стране чудес» героиня произведения спрашивает Чеширского кота. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «А куда ты хочешь попасть?», ответил Кот. «Мне все равно...», – сказала Алиса. «Тогда все равно, куда идти» [Кэрролл], – изрек Кот. Похоже, что современное человечество в своей гонке в неизведанное будущее подобно наивной Алисе делает то, что может, и не слишком задумывается о том, куда это «движение» способно его завести.

Благоговение перед будущим как высшей «святыней» существования человека порождает высокомерную ментальность (*хронократию*), которая навязывает ему свой безапелляционный императив: «Новое – всегда лучше старого». Эта слепая приверженность к новизне ускоряет гонку человека за призраком неизведанного, делает его заложником моды, умножает искусственные потребности и заставляет растрачивать свою жизнь впустую. «Вдумайтесь в это, – пишет Хулио Кортасар, – когда тебе дарят часы..., тебе дарят маленький изящный ад..., тебе дарят потребность заводить их, проверять точное время в витринах ювелирных магазинов или по радио... Тебе дарят страх потери или кражи, вкупе с боязнью уронить или разбить этот «дар». Тебе дарят марку, а вместе с ней и иллюзию, будто эта марка лучше других» [Cortázar 2011: 440]. Стоит лишь заменить часы автомобилем или электронным планшетом и станет ясно, насколько актуально звучит проблема сегодня, поставленная аргентинским писателем полвека тому назад. Можно сказать, что наш современник превратился в слугу времени, которое насыщается и «жиреет» за его счет его субстанции, обременяя существование тысячами мелких забот. Эта невротическая гонка в неизвестное будущее, все меньше определяемая *желательным* и все больше *неизбежным*, коренится в том, что мы думаем, будто «остановка» равносильна «падению», время – деньгам, а спешка – синоним бьющего через край бытия.

Сегодня быстро «выходят из моды» не только марки автомобилей, компьютеров или мобильных телефонов, но и формы духовного опыта, мировоззрения, нормы поведения. В этой связи Корнелиус Касториadis отмечает, что развитие истории в эпоху постмодернизма выходит за пределы всякого определенного состояния, чтобы достичь другого состояния, которое также является неопределенным за исключением способности преодолеть настоящее состояние. Постмодернизм уже не может, да и не хочет принимать в расчет критерии других эпох, а должен извлекать нормативность из самого себя. Эпоха постмодернизма знаменуется «сокращением настоящего»: планы, проекты и прогнозы, нацеленные на грядущие преобразования, властно накладываются на решения, принимаемые сегодня. Но одновременно снижается вероятность того, что будущие действия осуществятся в соответствии с критериями настоящего. Последнее сжимается подобно шагреновой коже, а это означает, что рост количества инноваций в единицу времени ведет к снижению интервала, за пределами которого прошлое кажется нам настолько архаичным, что мы с трудом распознаем в нем приметы настоящего.

Кроме того, человек эпохи постмодерна пытается присвоить себе функции Бога: создает в виртуальном пространстве и времени совершенно новый (как бы независимый от реально существующего) мир, по крайней мере на уровне литературных или электронных фантазий. Стало быть, виртуальность – это синоним воображения, мечты, проекта или дерзкой научной гипотезы, тогда как прошлое, увы, нельзя воскресить, ибо оно навеки ушло в небытие, и на него также нельзя повлиять, поскольку то, что случилось *уже* не может произойти по-другому. И тем не менее существование человека в настоящем и его озабоченность будущим немислимо без памяти о прошлом. Поэтому виртуальный дискурс, имманентно присущий нашему языку, связан не только с будущим, но и с прошлым. Мы способны «манипулировать» событиями, которые навсегда канули в пучину прошлого, но которые все же осознаем в качестве виртуальных. Мысленно мы возвращаемся назад, в ту временную точку, которая предшествовала совершенному действию, когда мы могли бы принять другое решение, поступить иначе: не делать того, что, увы, уже совершили или, наоборот, вызвать к жизни (в нашем воображении, разумеется) то, что мы не смогли реализовать.

Как существа целеполагающие, мы почти не замечаем настоящего (в лучшем случае рассматриваем его как средство), поспешно «перешагиваем» через то, что находится здесь и сейчас и устремляемся в будущее, которое искушает нас своими *виртуальными соблазнами*. Наше бытие – непрерывный переход от того, чего *уже нет* к тому, чего *еще нет*, но может произойти. Эту схему целеполагающей деятельности, нацеленную на реализацию наших планов в будущем, мы иногда невольно экстраполируем на прошлое. Наша память и воображение переносят нас на развилку *прошлого экзистенциального маршрута* и заменяет уже свершившееся событие другим. Оно было возможно, но в силу разных обстоятельств, увы, не воплотилось в действительность несмотря на то, что существовали условия и вероятность его осуществления. Эта воображаемая перестановка *еще* на место *уже* превращает прошлое либо в *ностальгию* по утраченным возможностям, либо в *отчаяние*, порождаемое невозможностью устранить нежелательное событие. Однако несмотря на все усилия нашей воли от него отделаться оно продолжает существовать в нашем сознании.

В этом смысле все мы – заложники сослагательного наклонения, пленники нереализованных возможностей, честолюбцы, жаждущие обратить время вспять, чтобы мысленно извлечь из упущенной возможности виртуальную выгоду. Таким образом, сослагательное наклонение оказывается включенным в целеполагающую деятельность, которая вопреки наличию у человека сознания и воли, увы, далеко не всегда гарантирует совпадение объективных результатов и его субъективных замыслов. Если бы дело обстояло иначе, то можно предположить, что наша деятельность стала бы способной не только предвидеть будущее, но и осуществлять полное совпадение наших планов и проектов с желаемыми результатами

Частица «бы» сослагательного наклонения русского языка – это возможность опосредовать отношение между бытием и ничто. Михаил Эпштейн полагает, что если дизъюнктив «*быть или не быть*» связан простым

отрицанием, то между «быть» и «бы» существует более глубокое отношение. «Бы» – животрепещущая возможность, скрытая в бытии, но к нему не сводимая, рвущаяся из него, как птица из клетки. «Бы» возникает по ту сторону «быть или не быть» как общая им, кратчайшая и кротчайшая частица... То, что только возможно, может быть, а может и не быть, «бы» – их общий корень. И вот в этом трепете между «быть» и «не быть», в этом «бы» как чистой возможности, как раз располагается наш основной душевный опыт: надежда, вера, любовь, страх, сомнение» [Эпштейн]. К этому следовало бы добавить, что в царстве «бы» виртуального дискурса человек превосходит всех великих утопистов мира, вдохновляемых возвышенными идеалами. Если вдуматься, то субъект сослагательного наклонения пытается подняться в *виртуальном могуществе* выше самого Бога – он хотел бы обратить вспять время, чего не осмеливается сделать сам Творец. Поистине частица «бы» – это волшебник: она превращает необратимое в обратимое, непоправимое в поправимое, бывшее в небывшее, и все эти *воображаемые действия* осуществляются на «подмостках театра» сослагательного наклонения.

Когда мы прибавляем к виртуальной частице «бы» конъюнктив «если» или «как если», мы вводим в возможность условие осуществления или неосуществления того или иного мыслимого предмета или события. Причем «как если бы» – это не просто условие бытия возможности, но и такое условие, которое претендует на универсальность. Вот эту «заявку на всеобщность» и акцентирует Кант в своей первой формуле категорического императива: «Поступай так, *как если бы* максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы» [Кант 1965b: 261] (курсив – М.М.). Иначе говоря, поступай так, *как если бы* максима твоей воли могла быть универсализуема. Например, мать говорит сыну: «Петя, не сори, вообрази, что будет, если все люди начнут бросать мусор где попало». Петя начинает думать, что произойдет, *если все люди* начнут вести себя по его образу и подобию. Иначе говоря, он мысленно возводит свое действие во всеобщую норму и впечатленный негативными последствиями этой универсализации, перестает бросать бумажки на пол, не подозревая о том, что эта ментальная операция, осуществляемая им в воображении, и есть основа нравственного императива.

Если бы человек был всегда доволен самим собой, то он никогда бы не употреблял глаголы в сослагательном наклонении, ни о чем бы не жалел, не грустил, не раскаивался и не предавался отчаянию. Он прозябал бы в блаженстве ангельского идиотизма и, вероятнее всего, превратился бы в адепта «философии Панглосса» (комического персонажа Вольтера из повести «Кандид»), который исповедовал принцип «все, что происходит – это самое лучшее из того, что могло бы произойти». Этот «оптимистический фатализм» ведет к резиньянции: то, что произошло уже нельзя вернуть назад, а стало быть случившееся – *непоправимо*. Против необратимости бунтовать бессмысленно, а потому самое разумное – примириться с неизбежным, даже если ты, как и Панглосс, стоишь на эшафоте, и палач уже накинул петлю на твою шею.

Будучи непримиримым врагом сомнения, фаталист, с упорством достойным лучшего применения, ополчается против сослагательного наклонения, считает его верхом абсурда. Но, увы, и он сам не может обойтись без этой фигуры языка, например в период переживания угрызения совести, стыда, вины, раскаяния, скорби или гнева. Никакой человек, каким бы здравомыслящим он не был, не согласится добровольно отречься от своей свободы, устранить переживание вины, стыда и совести, ограничить жизнь рамками уже случившегося и перестать желать упущенную возможность. С точки зрения приверженца *amor fati*, (любви к судьбе), сослагательное наклонение, говоря языком подпольного персонажа Достоевского, есть нечто «неприличное». Но это «неприличие» может быть выгоднее всех выгод даже в том случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, потому что сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность [Достоевский 1982: 421].

Несмотря на всю очевидность необратимости случившегося многие люди и особенно те из них, которых судьба обрекла на суровые испытания, хотели бы «изменить» свое прошлое, «переиначить» свою жизнь и обратить время вспять. Это «донкихотское желание» вносит в их существование оттенок иронии. И действительно, кто из нас не пытался, хотя бы невольно, переиначить свою жизнь задним числом в сослагательном наклонении? Несмотря на то, что событие прошлого случилось *окончательно* и его нельзя повторить в будущем, опыт, лежащий в его основе, а самое главное – его оценка и интерпретация, несомненно, могут претерпеть существенное изменение по мере нашего удаления от него во времени. Если бы это было не так, то изучение истории (в силу необратимости случившегося) не имело бы никакого практического значения. *Мы могли бы* – это не только сожаление или упрек, но и назидание: бессильные что-либо сделать с событиями и фактами, канувшими в небытие, мы тем не менее пытаемся их как-то по-другому объяснить и даже извлечь из них определенные уроки в свете изменившейся исторической ситуации.

Девиз сослагательного наклонения «если бы» – не только признание необратимости времени, невозможности вернуть или переиначить однажды случившееся, но и стремление посмотреть на прошлое глазами настоящего. Оно рождает желание оценить неизведанные или неиспользованные возможности, которые мы ранее, не имея достаточного опыта, не сумели или не смогли распознать, и только теперь с высоты настоящего обретаем возможность составить о них более адекватное суждение. Иногда человек затрачивает огромные усилия, чтобы стать тем, кем он должен быть. Но потом он спрашивает себя: а стоило ли? И не перестает терзаться тем, что это сомнение не посетило его еще до того как исчезла возможность выбора иной жизненной стези.

Сослагательное наклонение может инициировать процесс переосмысления того, что ранее считалось твердо установленным мнением или жизненной аксиомой, но теперь по просшествию времени оно нас уже больше не удовлетворяет. «Мы могли бы» – это первый симптом переосмысления

минувших событий, порожденных поспешностью принятых ранее решений. Сколько времени и сил мы смогли бы сберечь, если бы достаточные основания, определившие наши решения в прошлом, были соразмерны достигнутому результату. Но, увы, какой бы благородной или лучезарной не казалась нам желанная цель, путь, ведущий к реальному результату, погружен в полумрак. Мы спотыкаемся, бредя к нему навстречу; ибо в зазор, отделяющий цель от ее воплощения в действительность, нередко вклинивается непредвиденная случайность, развенчивающая иллюзию полного торжества намерений нашей воли.

Однако сослагательное наклонение не всегда вызывает горечь сожаления или раскаяния, иногда виртуальный дискурс может выполнять и терапевтические функции. Например, когда с нами приключается неприятный казус, мысленно проигрывая возможные альтернативы, мы невольно смиряемся со случившимся, ибо понимаем, что произошедшее – далеко не худший исход: другие варианты могли бы оказаться гораздо печальнее. В этом смысле сослагательное наклонение помогает нам смягчить жесткую антитетику взаимоисключающих возможностей, избежать радикализма антагонистического девиза – «все или ничего», смягчить фатальную непримиримость этой антитезы. Словом, сослагательное наклонение стремится поставить на место антагонизма взаимоисключающих альтернатив гибкое взаимоотношение примиримых различий.

Каждый человек живет «здесь и сейчас», обремененный необходимостью удовлетворять потребности завтрашнего дня. И эти безотлагательные заботы нередко обязывают его принимать поспешные и не всегда продуманные решения, что, в свою очередь, отнимает у него возможность предвидеть вероятные последствия совершаемых поступков в будущем. В некоторых случаях неведение (или невежество) полностью парализует наши благие намерения, когда, например, по оплошности вместо сока мы выпиваем какую-нибудь гадкую жидкость. Иногда мы действуем, не будучи достаточно осведомленными относительно значимости принимаемого решения. Разумеется, мы делаем то, что знаем, но, увы, мы не знаем всего, что нам следовало бы сделать. Если бы мы это знали, то можно предположить, что наши действия были бы другими, ибо они опирались бы на более солидные основания.

Однако, обремененные неотложными заботами, мы действуем весьма опрометчиво исходя из сомнительных расчетов, как это иногда происходит при выборе профессии, заключении брака или выработке стратегии вложения капитала. Конечно, мы можем отдавать себе отчет в неполноте нашего знания или нехватке времени, необходимом для восполнения этого дефицита, но практический императив, повелевающий нам действовать, увы, не может быть отсрочен. Иногда человек вынужден выбирать между меньшим и большим злом, как, например, это делает капитан торгового судна, застигнутого штормом. В кратчайшее время он должен решить мучительную дилемму: выбросить за борт ценный груз и обрести возможность (отнюдь не гарантированную) спастись от кораблекрушения или, сохранив содержимое трюма, увеличить вероятность гибели корабля. В аналогичной си-

туации находится и раненый солдат, пораженный гангреной, который ради спасения своей жизни раздумывает над возможностями ампутации собственных конечностей.

В других случаях мы сами загоняем себя в трудное положение: легко обещаем, а потом раскаиваемся за легкомысленные слова, размениваем жизнь на мелкую суету, принимаем текущие дела за важные, а важные откладываем до лучших времен, которые, увы, могут никогда не наступить. Случается, что судьба заставляет нас тратить часть жизни на достижение того, что, возможно, никогда не произойдет, а другую часть расходовать на преодоление пагубных последствий этих утопических планов. Именно эти неудачи, продукт спешки или непредусмотрительности, заставляют нас огорчаться и в бессильном негодовании «сыпать соль на собственные раны»: переживать чувство угрызания совести, стыда, вины, прибегать к сослагательному наклонению.

Нередко этот «бунт» против необратимости случившегося оказывается чем-то сродни поведению трусливой собаки, которая начинает громко лаять после того как воры уже обчистили дом ее хозяина. А известная русская поговорка «после драки кулаками не машут» еще более категорична. Будь это по-другому, то мир, вероятно, превратился бы в рай для демагогов. Разве неудача в достижении вожделенной цели не превращает честолюбца, потерпевшего поражение, в «виртуоза» по оправданию своих оплошностей? Для человека, страдающего от мук уязвленного самолюбия, сослагательное наклонение часто служит не столько сигналом самопреодоления, сколько средством софистического самоутверждения.

И все-таки ироничная поговорка «человек крепок задним умом» не означает, что сослагательное наклонение есть только свидетельство нашего бессилия перед суровой реальностью неотвратимого времени. «Если бы мы могли» – это и признание невозможности вернуть или переделать то, что уже произошло и попытка посмотреть на прошлое глазами настоящего, оценить нереализованные возможности, которыми мы, авторы минувшего выбора, пренебрегли, отдав предпочтение тем решениям, которые привели нас к тому, что мы имеем.

Надо сказать, что возможность обладает удивительным свойством: она способна оказывать воздействие на действительность именно в меру своей невоплощенности. Так, одна лишь возможность грозящего наказания нередко становится более действенным фактором соблюдения закона, чем само наказание. Угроза несчастья более эффективна, чем наступившая беда, а страх как функция предвидения возможной неприятности нередко предостерегает нас от опрометчивого осуществления слишком рискованных действий.

Все люди, обитавшие в прошлом, сотню или тысячу лет тому назад, жили в *своем настоящем* и были озабочены *своим будущим*, которое, как и сейчас для нас, так и тогда для них, казалось открытым и исполненным неизведанных возможностей. И хотя в каждое мгновение нашего бытия мы находимся в настоящем, наша память и забота о будущем делают его не вполне пригодным для обитания. Всякое завтра неминуемо превратиться

в сегодня, возможное станет реальным, и эта метаморфоза нередко вызывает разочарование, ибо настоящее расколдовывает иллюзии, связанные с надеждой на будущее. Опора на опыт прошлого также не освобождает настоящее от риска заблуждения, ибо настоящее находится во власти *виртуальных чар*, которые внушает нам мысль о том, будто будущее обладает гораздо большими возможностями, нежели реальность настоящего, опирающаяся на «капитал» прошлого. И хотя мы понимаем, что прошлого не вернуть, тем не менее упущенные возможности заставляют нас сокрушаться: «а мы бы могли, да еще как...». Словом, сослагательное наклонение, хотя и «освобождает» нас от бремени фатализма, одновременно превращает наше сознание в заложника утраченных возможностей.

Нельзя забывать, что для человека, ушедшего в небытие, его прошлое было настоящим, исходя из которого он думал и мечтал о *своем* будущем. Его не осуществившиеся цели и проекты имели для него, возможно, не меньшее значение, чем те действия, которые вошли в «тело истории». Только в своих возможностях человек есть то, кем он является. Следовательно то, кем он стремился стать, определяет полноту его переживания минувших событий. Возможность – это мощный стимул для побуждения к действию. Но будучи реализованной, возможность перестает быть возможностью и превращается в реальность. Наслаждение любовью – это реальность, а удовольствие от ее предвкушения – это возможность, которая, бесспорно, способна иногда приносить нам большую радость, чем наслаждение реальным счастьем. Равно как и наоборот: радость, переживаемая здесь и сейчас, может оказаться гораздо интенсивнее, чем предвкушение возможности осуществление той цели, которая обещает вознести нас на вершину наслаждения.

Будущее открывает перед нами широкий веер альтернатив, но реально мы можем воплотить в жизнь только одну из них, ибо настоящее автоматически отсекает другие варианты выбора. Это осознание каждого реального поступка как «палача», отсекающего другие возможности, в высшей степени было свойственно датскому философу Кьеркегору, определившему свою жизнь как промежуточный пункт между *нечто* и *ничто*, как вечное *может быть*. Постоянная неуверенность перед принятием окончательного решения, нежелание превращать свои субъективные переживания в непреложный императив не только наложили отпечаток на характер этого мыслителя, но и определили своеобразие способа изложения им своих философских идей. Его метод представляет собой серию «мысленных экспериментов», осуществляемых псевдонимами, которым автор «поручает» проигрывать варианты возможных экзистенциальных маршрутов. Как замечает П.П. Гайденко, «Кьеркегор сталкивает не только и не столько различные образы мысли, сколько различные образы жизни; его не столько интересует *способ понимания истины*, сколько *способ бытия в истине*, или, если быть ближе к его терминологии, *тип экзистенции*» [Гайденко 1970: 46]. Этот последний, с точки зрения датского мыслителя, определяется не столько действительностью, сколько возможностью, которая помимо всего прочего проигрывается и в сослагательного наклонения. Можно сказать, что основоположник экзистенциализма не столько растворяет сущность в

существовании, сколько опосредует первую виртуальным дискурсом. Сущность тем и отличается от существования, что может осуществиться так, а может и по-другому.

**Дискурс сослагательного наклонения в переживании вины и мести.** Если настоящее никогда не станет тем, чем было в прошлом, то и сослагательное наклонение никогда не откажется от своих притязаний преподать настоящему урок того, что могло бы произойти, если бы случившееся не произошло или произошло, но совсем иначе. Мы обеднили бы жизненную траекторию человека, если бы не приняли во внимание его неиспользованные возможности и несбывшиеся мечты. Термины «почти», «едва-едва», «чуть-чуть», вкупе с «если бы» ... весьма часто фигурируют при объяснении неудачных поступков. Мы *чуть-чуть* не достигли заветной цели, *едва-едва* не попали в разряд победителей. Этот небольшой зазор между желанием и результатом делает наше поражение не *горьким*, а *кисло-сладким*, служит стимулом для преодоления прошлых неудач и позволяет надеяться на успех в будущем.

Если наш разум стремится выработать реалистическое отношение ко времени, то нашим эмоциям свойственно *магическое переживание длительности*. Например, влюбленный в своем стремлении как можно дольше наслаждаться счастьем хотел бы остановить настоящее; человек, одержимый страстью приблизиться к заветной цели, готов «перепрыгнуть» через барьер, отделяющий настоящее от будущего; несчастный, терзаемый угрызением совести, желал бы вернуться в состояние невинности, которое предшествовало его позорному поступку. Магию, руководимую нашими эмоциями, можно рассматривать как «бунт» в сослагательном наклонении против знаменитого тезиса Гегеля о том, что «все действительное – разумно, а все разумное – действительно».

В определенный момент жизни мы принимаем важное для себя решение. Проходят годы и наученные горьким опытом мы начинаем понимать, что ошиблись. Оказывается, что мы спохватились слишком поздно, и нам просто-напросто не хватает времени, чтобы исправить промахи, связанные с предыдущим решением. Воистину, кого не сумел убедить разум, того, возможно, образумит время. Правда, как правило, бывает уже слишком поздно, чтобы можно было снова взяться за ум, переделать сделанное и выбрать другой жизненный путь. Сослагательное наклонение – это *виртуальное обвинение*, которое наше моральное сознание из настоящего бросает самому себе в прошлом за совершенные проступки, несовместимые с нашим достоинством.

Существует детская сказка об ученике колдуна, который, зная волшебное заклинание, сумел вызвать могучего Джинна из бутылки, но, к несчастью, он забыл заветное слово, которое могло бы вернуть назад разбушевавшийся Дух. Так и наша воля: она может сотворить нечто, только не всегда может вернуть назад, отменить или стереть то, что однажды было сделано. Человек – хозяин своего поступка в настоящем, но не может действовать в прошлом. Поэтому в лучшем случае он – ученик колдуна, ибо только настоящий колдун способен бывшее сделать небывшим. Это объясняет и то, почему в сознании субъекта, переживающего угрызения совести за действия,

которые он безуспешно пытается отменить или переиначить, эти действия выступают в значении отчужденных и враждебных сил, ему уже не принадлежащих и им не контролируемых.

Многие люди, за исключением самодовольных идиотов, редко бывают полностью довольными своей жизнью. Поэтому они жалуются, негодуют, гневаются, стыдятся и мучаются от угрызений совести. В основе всех этих и многих других аффективных переживаний лежит сознание различия между тем, *что мы сделали* и тем, *что мы могли бы сделать*. Если бы не существовало этого различия, то многие эмоции навсегда бы исчезли из нашей психики. Например, в основе дискурса переживания вины лежит сознание необратимости времени и иррациональное стремление переделать или отменить случившееся. Сознание виновного, словно испорченная пластинка, как бы заикливается на том моменте прошлого, который привел его к нежелательному событию и теперь отравляет сознание ядом угрызения проснувшейся совести. Можно сказать, что в переживании вины присутствует какое-то монотонное пережевывание навязчивого аффекта: невозможность вытеснить воспоминание о позорном поступке и упорно возобновляемое желание от него как-то отделаться.

Если ностальгия – это сожаление о прошлом, которое сопровождается положительными эмоциями, окрашенными светлой грустью, то, напротив, вина – сожаление о «проклятом прошлом», которое помимо нашей воли с какой-то невротической навязчивостью вклинивается в настоящее и заслоняет, подобно высокой стене, горизонт будущего. Это прошлое (с момента свершения рокового проступка до печального настоящего, в котором этот поступок переживается) изолирует субъект вины не только от будущего, но и от того безмятежного состояния, которое предшествовало этому недолжному событию – предмету его терзаний. Как бы мы хотели изгнать, вычеркнуть из своей памяти нестерпимую горечь случившегося, перенестись в то невинное состояние, которое предшествовало позорному событию! Нам кажется, что если бы прошлое было обратимо, то мы могли бы спастись от терзающих нас мук совести, хотя одновременно мы понимаем, что никто, ни даже сам всемогущий Господь Бог, не сделает бывшее небывшим и небывшее бывшим.

В романе Достоевского «Братья Карамазовы» Иван размышляет о том, что никакая магическая формула не сможет вернуть матери ее восьмилетнего сына, растерзанного охотничьими собаками, науськанными на него жестоким помещиком только за то, что мальчик, играя, случайно швырнул камешек и повредил лапу любимого пса своего хозяина. Иван спрашивает Алешу: как искупить муки растерзанного ребенка? Вечным страданием палача в аду? Но какой от этого прок, если ребенок уже растерзан, и никакое богатство мира не может вернуть его к жизни. Уничтожив деспота, сможем ли мы преодолеть трагические последствия его жестокости? Увы, никакая месть, никакие муки ада не способны переделать случившееся, даже не по случайному стечению обстоятельств и не в силу неумолимой логики судьбы. Это было совершено по жестокому капризу ослепленного злобой владельца крепостного мальчика (что и делает его вину неискупимой). Разумному

взрослому человеку ничего не стоило отменить свое безрассудное решение, лишь немного подумав о возможных роковых последствиях.

Разумеется, ничто и никто не может утешить безмерную скорбь матери, которая хотела бы вернуть к жизни своего любимого мальчика. Как и всякая мать, она любила его не столько за какие-то ему одному присущие исключительные достоинства, а просто потому, что он был ее сыном. Талант и многие другие замечательные качества можно, конечно, отыскать и в других детях, но весь ужас трагедии состоит в том, что вот этого насильственно умерщвленного ребенка никем нельзя заменить, равно как и невозможно исцелить навеки искаленную горем беззаветную любовь матери, которая, сознавая непоправимость случившегося, тем не менее пытается воскресить, вновь воплотить в реальность образ безвозвратно ушедшего в небытие сына, одновременно сознавая всю невозможность и абсурдность изменения жестокого приговора беспощадной судьбы.

Аналогичный образ действия присущ и нашему моральному сознанию: каким бы неотвратимым не было давление враждебных обстоятельств, приведших к недолжному поступку, наша совесть, этот строгий цензор, вопреки необратимости времени нас судит, поскольку этот поступок мог бы и не произойти или произойти, но совершенно по-другому. Человек, переступивший моральный закон, сознает себя виновным, потому что, будучи носителем свободной воли, он способен осуществлять контроль над своими действиями, толкнувшими его в объятия зла.

Некоторые мыслители, вслед за Ницше, защищают преимущество забвения от жестоких и в сущности бесполезных нравственных терзаний, которые, с их точки зрения, являются выражением бессилия и причиняют виновному только бесплодные страдания, неспособные своевременно уведомить его о недолжном поступке, а если и уведомляют, то их предостережения, как правило, приходят слишком поздно, и в сущности угрызения совести оказываются бесполезными. Именно этот «аргумент» и заставил Ницше сравнивать угрызения совести с укусом собакой камня. И это, конечно, печально. Но с другой стороны, с точки зрения Канта, будучи строгим моральным цензором, совесть не дает человеку спокойно и безнаказанно предавать забвению свой проступок. «Человек может хитрить сколько ему угодно, чтобы свое нарушающее закон поведение, о котором он вспоминает, представить себе как неумышленную оплошность, просто как неосторожность, которой никогда нельзя избежать полностью, следовательно, как нечто такое, во что он был вовлечен потоком естественной необходимости и что позволяет ему считать себя в данном случае невиновным; и все же он видит, что адвокат, который говорит в его пользу, никак не может заставить замолчать в нем обвинителя, если только он сознает, что, совершая несправедливость, он был в здравом уме, то есть мог пользоваться своей свободой; и хотя он объясняет себе свой поступок той или иной дурной привычкой, появившейся от небрежности и невнимательности к себе до такой степени, что он может рассматривать этот проступок как естественное следствие этой привычки, тем не менее это не может предохранить его от самопоричания и упреков себе» [Кант 1965b: 427].

Это самопорицание, составляющее основу раскаяния, могут на первый взгляд показаться бесполезным и даже нелепым, поскольку человек не может отменить уже случившееся, и все-таки, полагает Кант, «как боль оно вполне правомерно, потому что разум ... не признает никакого различия во времени и спрашивает лишь о том, принадлежит ли мне это событие как поступок, и в таком случае морально связывает с ним это ощущение, когда бы ни произошло событие – теперь или давным-давно» [Кант 1965b: 427].

Человек обычно раскаивается за высказанное и за содеянное, но редко переживает за невысказанное или за неосуществленное именно потому, что для раскаяния за уже совершенные действия или произнесенные слова требуется признание единственного свидетеля – собственной совести. Но нереализованные мотивы, подавленные сознанием человека, – его сугубо личное дело. Терпимость к наклонностям, не вышедшим за рамки нашего внутреннего мира, освобождает нас от патологических подозрений в собственный адрес и от мазохистских самобичеваний. Перефразируя высказывания Теренция, можно сказать: «я человек, и ничто человеческое моему воображению не чуждо», если, конечно, оно не выйдет за рамки виртуального дискурса в сослагательном наклонении.

Как и переживание вины месть тоже нередко прибегает к «услугам» сослагательного наклонения. С точки зрения испанского психолога Карлоса Гурмендеса, «первое условие зарождения мести состоит в том, что нанесенная обидчиком рана превращается в гнойную язву нестерпимой обиды, которая, проникая в самые потаенные недра человека, пускает там свои глубокие корни» [Gurméndez 1985: 142]. Переживание чувства мести носит по-преимуществу реактивный характер; «обрекает» обиженного человека страдать от неспособности «заставить» будущее исцелить душевные «раны», причиненные ему обидами прошлого. Это «бессилие» памяти предать забвению или простить обиду, нанесенную в прошлом, перерождает боль от обиды в злобу – злое чувство, лежащее в основе переживания мести. Самое опасное в человеке, скупаемом жаждой мести, даже не злоба, а неукротимая страсть оживить, не дать угаснуть боли от оскорбления, заставить обидчика возместить «долг» за причиненную ему обиду.

Но между нестерпимым желанием отплатить обидчику и возможностью претворить в жизнь этот импульс простирается временной интервал, заполненный планами и действиями, направленными на подготовку к осуществлению мести. Наконец, отомстив своему недругу, мститель чувствует себя умиротворенным. Он считает, что его обидчик «заплатил» за причиненный ущерб. Ему кажется, что следы нестерпимого унижения, хранимые в его памяти, постепенно развеются, и время залечит душевную боль. Одержимый чувством мести может, конечно, понимать, что незаслуженная обида не станет заслуженнее, если воздать обидчику по заслугам. Но память о причиненном зле, как правило, сопровождается воспоминанием о воздаянии, которое, несомненно, смягчает недовольство обиженного. Справедливость такого утверждения может засвидетельствовать любой участник уличной потасовки, который искренно заверяет своих товарищей по драке, что несмотря на разбитую челюсть ему становится

немного веселее, когда он вспоминает о разбитом носе у субъекта, выбившего у него зуб.

Почему месть, будучи агрессивным чувством, так глубоко укоренена в недрах психической жизни человека? Эрих Фромм, отвечая на этот вопрос, пишет, что в некотором смысле месть – это магический акт: уничтожив человека, совершившего злодеяние, мститель магически преодолевает последствия его деструктивного действия. Последнее подтверждается высказыванием: «наказание – это оплата преступником своего долга»; можно сказать, что месть – это магическое возмездие; но если это так, то почему желание воздаяния является таким глубоким? Может быть, это происходит потому, что человек наделен элементарным чувством справедливости, и не исключено, что это глубинное чувство проистекает из его стремления к «экзистенциальному» равенству. Пусть человек не всегда может защититься от причиненного ему ущерба, но в своей жажде возмездия он пытается перевернуть страницу, магически смыть нанесенную ему обиду. Но существует и другая причина: когда рушится надежда на Бога или на земные власти человек пытается взять справедливость в собственные руки. Его страсть к возмездию как бы замещает самого Бога и ангела мести [Fromm 1997: 251].

Это иррациональное желание субъекта, искушаемого мезтью, снять с себя нестерпимое заклятие обиды путем воздаяния и предстать в собственных глазах в качестве поборника справедливости, пожалуй, с наибольшей отчетливостью проявляется в его грезах или снах, когда обиженный совершенно безотчетно наносит своему обидчику десятки, а то и сотни смертоносных «виртуальных ран». Бросить вызов врагу и даже безжалостно убить его в собственном воображении означает для сознания обиженного пережить иллюзию справедливости, а главное – избежать риска, связанного с ответной мезтью. Можно предположить, что без опоры на этот полубессознательный виртуальный дискурс, закодированный в глубинах нашей психики, дело гуманизма, апеллирующего исключительно только к разуму, долгу и чести, было бы менее эффективным. Отменить воображаемую месть отнюдь нелегко, ибо помилованный недруг порождает в нашей душе смятение, особенно тогда, когда мы решили победить его свои презрением. По мнению Чорана, искренне простить его мы можем лишь тогда, когда до нас дойдет весть о его позоре, а к окончательному примирению с ним нас может привести только созерцание его могилы. Поистине пути проявления агрессивных импульсов человека, охваченного жаждой мести, неисповедимы. Хорошо уже то, что виртуальный дискурс в сослагательном наклонении помогает сублимировать бестиальность агрессора, не нанося значительно го ущерба его собственному самолюбию.

**История в сослагательном наклонении.** В современной исторической науке, наряду с понятием «факт», употребляется термин «контрафакт» (сравнительно недавно вошедший в научный обиход), обозначающий альтернативное событие в прошлом и выражаемое в сослагательном наклонении. Причем этот неосуществившийся вариант не есть только плод нашей неумной фантазии; он потенциально существовал как возможность. Но либо агенты истории по каким-то причинам его не заметили или отвергли,

либо не смогли (или не сумели) воплотить его в реальность. «Мы бы могли» – это *иллюзия*, помогающая нам, тем не менее, «пробивать» *виртуальную брешь* в неизбежности фатума, мысленно переиначивать уже сделанное.

В отличие от пространства, время – асимметрично, а следовательно необратимо. Поэтому каждое настоящее мгновение отличается как от предшествующих, так и от последующих. И эта неповторимость каждого момента становления невольно наводит нас на мысль о неповторимости и самобытности каждого человека независимо от приобретенных им навыков и способностей. Сознание собственной единичности, обостряемое мыслью о предстоящем небытии, еще больше драматизирует нашу жизнь и невольно толкает нас на бунт в сослагательном наклонении против необратимости времени в прошлом и против неумолимости угрозы непреклонной судьбы в будущем.

Изучение истории – это не процесс овладения мудростью, из которой можно вывести практический императив, пригодный для всех времен и народов. Но в аспекте, который нас волнует, мы можем рассчитывать найти в историческом прошлом определенные значения и ценности, которые сохраняют свой смысл и для настоящего. История – это не только ретроспектива, отправляясь от которой мы взираем на время из прошлого, но и перспектива, исходя из которой мы взираем на время из будущего, то есть будущее определяет конфигурацию значения и ценности прошлого. Люди, живущие в настоящем, связаны с будущим посредством своих целей, идеалов, прогнозов и утопий, которые в известном смысле направляют их повседневную деятельность и сообщают им определенный смысл. Ясно, что все эти планы и проекты подвержены модификации или опровержению. Можно сколько угодно критиковать каждый из них, доказывать их ошибочность, но для тех, кто не изучает истории, а просто живет в ней, эти прогнозы и идеалы имеют большое значение, ибо являются составной частью их жизни. Именно наличие этих проектов, направленных в будущее, заставляет нас смотреть на прошлое не только глазами предшествующих поколений, но и своими собственными глазами.

Наши представления о будущем и о том признании, которое мы надеемся получить, оказывают несомненное влияние на то, как мы относимся к прошлому и каким образом переживаем настоящее. Эта способность к футуризации – одно из субстанциальных свойств бытия человека в истории. Карл Ясперс как-то сказал, что отказ от будущего имеет своим последствием восприятие прошлого как чего-то завершенного, что само по себе является уже неверным. «Достоинство человека, пытающегося осмыслить будущее, находит свое выражение как в прогнозировании возможного, так и – в сочетании с ним – в незнании, основанном на знании, принцип которого гласит: мы не знаем, что нас ждет. Чувство, воодушевляющее нас в нашем существовании, заключается в том, что мы не знаем будущего, но участвуем в его реализации и видим его в его целостности и непредвиденности» [Ясперс 1991: 164–165]. Без образа будущего невозможно понять и адекватно оценить мотивы, цели и ценности, служивших действительными стимулами в контексте деятельности исторических агентов, которые, как и мы, были озабочены *своим будущим*.

Открытость, неопределенность и известная неуверенность в будущем составляют предпосылку нашего бытия в настоящем, ибо идея завтрашнего дня влияет на то, как мы оцениваем свое прошлое и настоящее. Наши предки также испытывали в свое время неуверенность и хранили надежду относительно *своих* возможностей, которые для нас, их потомков, находятся уже в прошлом. Некоторые из этих возможностей уже вошли в тело истории, реализовались, тогда как другие (вероятно, большинство) не осуществились, хотя и могли бы осуществиться. Нам известно о крушении проектов наших предков, в то время как предшествующие поколения не могли этого знать, как и мы здесь и сейчас не можем с абсолютной точностью предвидеть, что произойдет с нами через год.

Именно благодаря историческому знанию мы можем утверждать, что располагаем большими сведениями относительно прошлого человечества, чем оно знало о себе *в своем настоящем*. Мы располагаем несомненными преимуществами перед историческими агентами: нам известны не только планы и проекты наших предков, но и конкретные результаты их реализации, воплощенные в последующих событиях. Поэтому мы можем с большей точностью оценить их начинания и свершения, установить причины неудач или просчетов, ибо располагаем информацией не только о настоящем ушедшего в прошлое, но и сведениями обо всей жизненной траектории людей, живших в тот исторический период, включая их закономерный финал. А это означает, что опытный историк может сообщить нам, как прошлые поколения представляли себе свое будущее, в том числе и те проекты или мечты, которые оказались не осуществленными.

Конечно, время стирает как то, что уже случилось, так и то, что не случилось, но могло бы произойти. Если бы не существовало сослагательного наклонения, то прошлое превратилось бы в мрачное царство фатальной предопределенности, а его агенты – в марионеток, управляемых всемогущим кукловодом. Именно таким прошлое предстает под пером некоторых историков, абсолютизирующих *ставшее*, забывающих о *становлении*, которое вносит в историю *виртуальный драматизм нереализованных возможностей*.

Говорят, что история мало чему учит. Это суждение имеет определенное основание отчасти потому, что многие историки повествуют только о том, что случилось и не разворачивают всего спектра неосуществившихся возможностей. Мы могли бы глубже постичь смысл исторических событий, если бы знали, не только то, что реально случилось, но и то, какой могла стать действительность (разумеется, в самых общих чертах), если бы это событие не произошло или произошло, но совсем по-другому. Согласно французскому мыслителю греческого происхождения Корнелиусу Касториадису, мировая история не должна сакрализироваться или, что гораздо хуже, повергаться осуждению за игнорирование других возможных историй. Последние имеют такую же значимость для понимания, как и реальная история, и, даже, пожалуй, обладают еще большей ценностью для наших практических отношений [Castoriadis 1993: 77].

Когда историк принимает во внимание только то, что случилось и не учитывает того, что могло бы случиться, он оскотливляет прошлое, лишает его

драматического начала. История мало чему учит именно тогда, когда она отвергает сослагательное наклонение, ибо отвергнутые варианты возможной или контрафактной истории обладают несомненной значимостью для более глубокого понимания реалий прошлого. На первый взгляд реальную историю образуют события, которые уже случились, а не те, которые могло бы произойти. Однако реальная история – это продукт взаимодействия живых людей, которые консолидируются в различные общественные, а подчас и антагонистических группы. Каждая из них имеет свои собственные планы, проекты и возможности для своего воплощения в реальную жизнь. Поэтому для историка важно принять во внимание не только то, что реально произошло, но и то, что могло бы случиться в изучаемый им период, ибо только так он будет располагать возможностью рассматривать историю как взаимодействие и борьбу разных групп.

Исходя из своих планов и проектов каждая социальная группа людей старалась из своего прошлого (которое было для них настоящим) воплотить в будущее то, что ей казалось тогда наиболее целесообразным, оптимальным и справедливым. Так что только голые результаты, без учета широкого веера возможных контрафактов, обеднили бы картину реальной истории. По мнению британского историка Ниайлла Фергюсона, история включает в себя различные альтернативы, а это означает, что мы должны атрибутировать равную значимость всем будущим возможностям, которые тогда мыслились. Историк, который полагает, что возможно пренебречь другими альтернативами, которые люди считали приемлемыми, не может постичь прошлое, таким «каким оно было в действительности». Ибо рассматривая только те возможности, которые воплотились в действительность, он совершает типичную телеологическую ошибку. Чтобы понять, что же происходило на самом деле, мы должны, следовательно, представить себе, то, чего в реальности не случилось, но что могло бы произойти по мнению современников. Это тем более верно тогда, когда реальная развязка наступает неожиданно, когда ее даже не принимают в расчет до тех пор, пока она не происходит [Ferguson 1998: 83].

Известная исследовательница тоталитаризма Ханна Арендт полагает, что реальное значение смысла любого события, как правило, превышает причины, которые им предписывают. Кроме того односторонняя интерпретация ведет к фатализму и иногда служит инструментом сокрытия реальных возможностей, которые могли бы предотвратить приход казалось бы неизбежного. А это означает, что тоталитаризм не был каким-то фатумом: приход казарменного социализма Сталина или Третьего Рейха Гитлера можно было избежать. Это означает, что борцы против таких режимов не были ни визионерами, ни авантюристами: их убеждения и героические поступки не были действиями дон-кихотов, и жертвы были оправданными в той мере, в какой они соответствовали реальным возможностям и условиям своей эпохи. Последующим поколениям хорошо известны зловещие последствия преступлений тоталитарных режимов. Умудренные уроками истории, они отдают себе отчет в том, что победа над нависшей угрозой в прошлом могла бы сохранить жизнь миллионов людей, переключив их энергию с истребительной войны на созидательную работу.

Поэтому чтобы понять историю во всем ее драматизме, нужно базироваться не только на реальных, но и на возможных фактах, которые не произошли, хотя и вполне могли бы произойти. Известный английский историк Эрих Хобсбаум в одной из статей, посвященной истории русской революции, ставит целую серию контрафактных вопросов. «Что случилось бы в 1917 году, если бы Ленин не вернулся в Россию? Можно ли было избежать Октябрьской революции? Что случилось бы с Россией, если бы ее удалось избежать? И еще один вопрос, представляющий несомненный интерес для марксизма: что заставило большевиков решиться на взятие власти исходя из того, что программа социалистической революции была явно нереалистичной? Должны ли они были брать власть? А если бы произошла европейская революция, то есть революция в Германии, на которую они сделали ставку? Могли ли большевики проиграть гражданскую войну? Если бы не было этой войны, то как бы развивалась Большевицкая партия и политика Советов? Если бы эта политика победила, то открылась бы возможность возврата к рыночной экономике в условиях НЭПа («Новой экономической политики»)? Что могло бы произойти, если бы Ленин продолжал бы свою деятельность? Этот список практически бесконечен, ограничивается только некоторыми наиболее очевидными контрафактными вопросами, связанными с периодом, который завершился смертью Ленина [Hobsbawn 1998: 244]. Хобсбаум прав: невозможно ответить на все эти вопросы, базирываясь только на фактических данных, которые, в свою очередь, основываются на уже свершившихся событиях, не прибегая к другим возможностям, которые не случились, но по всей вероятности могли бы произойти.

Именно эти возможности, предполагающие свободу человеческой воли, упорно отвергает исторический детерминизм, получивший свое концептуальное завершение в идеологии *историцизма*. Сущность последнего – в обожествлении истории. Историцизм – это *светская теодицея*, которая абсолютизирует неумолимый марш человечества по пути прогресса, увенчиваемого идолопоклонством перед будущим, которое мыслится как светлое царство всеобщего счастья. «В качестве благоговейно-почитаемой Сверхличности она (история) пользуется людьми как средством для достижения своих целей... Что бы не делали люди, история не может ни потерпеть крушения, ни изменить своего направления. От предрассудков и иллюзий, авантюризма или пассивности ущерб несут лишь сами их носители – конечные и бранные индивиды. Что касается «общественно-исторического целого», то оно осиливает любые произвольные вмешательства в предопределенное развитие, залечивает любые раны и «в конечном счете» окупает самые грандиозные издержки во имя грядущего» [Соловьев]. Как явствует из приведенного фрагмента, принадлежащего перу известного русского философа Э.Ю. Соловьева, в основе историцистского дискурса лежит идолопоклонство перед будущим, сакрализация идей общественной целесообразности и «железной» необходимости.

Основатель идеологии историцизма Гегель рассматривал всемирную историю как шествие по земле объективного духа, который приносит в жертву миллионы людей во имя неведомых для них всемирно-исторических

целей. Этот дух достаточно богат для таких затрат. Он ведет свое дело *en grand* и у него достаточно народов, употребляемых им в качестве марионеток для реализации своих чуть ли не божественных замыслов. Поскольку конечная цель духа стоит выше какой бы то ни было обязанности или вменяемости, то нельзя, с точки зрения Гегеля, предъявлять к всемирно-историческим деяниям совершающих их лиц моральные требования, они неуместны по отношению к ним [Гегель 1935: 65]. Ясно, что такой подход (для которого свобода есть только осознанная необходимость, а возможность выбора исторических альтернатив – нелепая химера) рассматривает сослагательное наклонение в лучшем случае в качестве детской игры, а в худшем как покушение на основы «железного детерминизма» историчистской идеологии.

В подтверждение справедливости данного утверждения можно сослаться на статью Григория Померанца, бывшего узника ГУЛАГа. Согласно воспоминаниям автора, в конце сороковых годов вместе с ним в лагере Каргополя отбывал свой срок философ Р. – преподаватель основ марксизма-ленинизма, написавший диссертацию, посвященную «свободе и необходимости». В этом «труде» простодушный «основщик» осмелился поставить серию контрафактных вопросов о том, что случилось, если бы агентам Временного правительства удалось погубить Ленина? В те годы ответ был предельно ясным: Октябрьскую революцию совершила бы партия под руководством товарища Сталина. «Здесь в 1949 году следовало остановиться, но Р. был честно глуп и поставил следующий вопрос: а если бы агенты Временного правительства убили Сталина? Тогда Октябрьскую революцию совершила бы партия... Партия без Сталина... Дураку дали 10 лет. Он сел, но проблема осталась» [Померанц 1990: 55]. Какая? Проблема контрафактных сомнений. Была ли неизбежна российская революция? Существовала ли железная необходимость в перерастании Февраля в Октябрь с последующим переходом к диктатуре Сталина, кровавой коллективизацией и массовыми репрессиями? Григорий Померанц не отрицает того, что существовала единая политическая линия «Ленина-Сталина-Брежнева». Но уже Хрущев, по его мнению, выламывается из этого ряда? «Оттепель Хрущева» пытались объяснить его волюнтаризмом, то есть свободной волей его личности. «Но если Хрущев обладал свободной волей, то почему лишать ее Сталина? И отрицать его авторство, его неповторимый почерк в некоторых событиях?» [Померанц 1990: 55].

Эти вопросы отнюдь не риторические. История, рассмотренная через оптику нереализованных выборов позволяет историку увидеть реальность прошлого не только с позиции своего времени, но и глазами самих исторических агентов, которые жили и творили *в своем* настоящем, которое, разумеется, было ориентировано в будущее, а следовательно, было открытым, драматичным, исполненным надежд и отчаяния. История, принимающая во внимание свободу выбора, его ненадежность, риск и случайность, преодолевает прежний телеологический дискурс, предполагающий линейное развертывание событий и завершающийся в финале совершенным обществом, «снимающим» саму историю. Но простая последовательность фак-

тов не всегда логична, по крайней мере в истории. Да и тот, кто побеждает не всегда имеет на своей стороне наиболее вероятное. Сам Ленин неоднократно признавался в том, что в годы гражданской войны советская власть буквально висела на волоске, и те, кто ожидал, что большевистский режим скоро рухнет, были не так уж глупы, как пытались позже представить победители этих побежденных неудачников.

Многие исторические события, например такие, как завоевательные, гражданские и мировые войны, революции и массовые уничтожения населения в концентрационных лагерях, по своему размаху и воздействию на судьбы человечества вызывают жгучий интерес не только профессиональных историков, но и обыкновенных людей. Несомненный интерес представляет статья Александра Храмчихина «Вторая мировая: сослагательное наклонение», в которой автор ставит вопрос: могла ли история пойти по другому руслу, если бы сценарий войны сложился иначе. Автор считает, что «гигантское количество боевых эпизодов, из которых состояла вторая мировая, теоретически предполагает бесконечное количество вариантов альтернативного развития событий. При этом очевидно, что на общий исход войны подавляющее большинство альтернатив не могло повлиять из-за своей локальности. Тем не менее в ходе войны, безусловно, было несколько «точек бифуркаций», то есть таких моментов, которые на самом деле давали возможность написать другой вариант истории» [Храмчихин].

Автор статьи излагает шесть альтернативных исходов войны, в пяти случаях из которых с большим или меньшим напряжением усилий воли, с большими или меньшими людскими и экономическими потерями победу одерживала Союзная коалиция, возглавляемая Советским Союзом, Соединенными Штатами Америки и Великобританией. И только один из вариантов содержал в себе возможность военного триумфа их противников – Германии, Японии и Италии. Исторический анализ ключевых точек второй мировой войны и сослагательного наклонения открывает широкий спектр виртуальных интерпретаций осуществившихся событий и позволяет преодолевать упрощенные схемы, посредством которых, иногда даже и невольно, упрощается сложность и многогранность значений описываемых фактов и утрачивается способность воспроизводить полиморфный и драматический характер возможного развития событий прошлого.

Остановимся только на первом сценарии бифуркации развития событий, который не был реализован, но с точки зрения Храмчихина мог бы предотвратить перерастание европейской войны в мировую. Этот вариант возник непосредственно после начала вторжения гитлеровской Германии на территорию Польши. Даже сегодня с высоты многих десятилетий весьма трудно разумно объяснить поведение Франции и Англии в тот момент. Конечно, они хотели направить гитлеровскую агрессию на Восток, но почему тогда, объявив войну Германии после нападения последней на Польшу, они фактически не предприняли никаких военных действий. Тогда, осенью 1939 г. германские войска еще не достигли той максимальной мощи, которую они обрели весной 1940 г. Для разгрома Польши, которая оказала упорное сопротивление агрессору, Гитлер задействовал большую часть

своих войск, в том числе и танковых, оставив на западной границе лишь резервные колонны. Франция располагала равным количеством вооруженных сил, а в коалиции с Великобританией превосходство сил союзников над противостоящей ей группировкой немецких войск на западной границе было подавляющим. И тем не менее союзники не предприняли никаких решительных мер, чтобы первыми нанести сокрушительный удар по гитлеровским войскам с Запада. Как следствие этой нерешительности Англия «дождалась» Дюнкерка, а Франция парада немецких войск по улицам и площадям Парижа.

Что бы случилось, ставит автор вопрос в сослагательном наклонении, если бы коалиция англо-французских войск уже в сентябре 1939 г. начала свое наступление? Тогда германское командование было бы вынуждено перебросить часть своих войск из Польши на французскую границу. Таким образом, Германия получила бы войну на два фронта в сентябре 1939 г., а не в июне 1944 г.

Весьма вероятно, что Сталин при таком развитии событий поостерегся бы воплощать в жизнь пакт Молотова – Риббентропа, и Польша могла бы продолжить сопротивление. Более того, не исключено, что если бы эта война затянулась, РККА через некоторое время нанесла бы удар по Германии. Правда, при таком возможном раскладе событий не исключено, что антигитлеровская коалиция, разгромив гитлеровскую Германию, могла бы начать внутриусобную войну за передел Европы, ибо у бывших союзников оставалось еще достаточно ресурсов и амбиций. Однако в действительности после разгрома Германии в мае 1945 г. победители просто-напросто были предельно истощены.

Александр Храмчихин также не исключает того, что наступление союзной коалиции на Германию в сентябре 1939 г. не изменило бы общего хода военных действий, ибо в то время их стратеги еще не осознали в полной мере значения танковых и механизированных войск в разрушении и сокрушении обороны противника. Хотя Франция и превосходила Германию по количеству танков, а их качество было не хуже, чем у немцев, тем не менее французские танки, рассеянные по подразделениям пехоты, были не в состоянии выполнять функцию реальной ударной силы. Нельзя исключать, что именно поэтому наступление союзников было бы остановлено на «линии Зигфрида» и на Рейне. В этом варианте немцы завершили бы разгром польских войск, а затем реализовали то, что произошло в действительности: пересекли бы территорию Бельгии и Голландии и окружили англо-французские войска. Но даже допустив возможность уничтожения сил коалиции, немецкие войска вряд ли бы смогли форсировать Ла-Манш и оказаться примерно на тех же позициях, как сложилось в реальности.

В заключение статьи автор пишет о том, что в истории второй мировой можно обнаружить много бифуркаций, которые могли бы оказать очень серьезное влияние не только на судьбы Европы, но и на все человечество. За годы правления Гитлера нацистская Германия (в меньшей степени ее союзники) превратилась в абсолютное зло. Причем это зло оказалось настолько сильным, что поработило многие другие страны. «И даже Большая Тройка,

выигравшая в конечном счете войну, при всем своем колоссальным экономическим и демографическим превосходстве над противником могла ее проиграть» [Храмчихин].

Сослагательное наклонение – это огромная сфера исторического опыта, который открывает возможность рассматривать прошлое как веер альтернатив, позволяющих глубже и масштабнее постигать смысл реально случившихся событий, которые обладают значимостью в той мере, в какой они могли бы не произойти или произойти, но совсем по-другому. Отсюда следует, что история помимо всего прочего – это и процесс накопления возможностей, которые могли бы воплотиться в действительность, ибо за этими возможностями стояли планы, воля и мощь определенной части агентов истории, готовых претворить эту возможность в действительность. Но по определенным причинам они не смогли или не сумели этого сделать.

Мы бунтуем против идеи судьбы в двух ее ипостасях: против *неминогого*, то есть неизбежного небытия, которое ожидает каждого из нас в будущем и которого нам хотелось бы избежать, и против *невозместимого* (счастливое прошлого), которое нередко мы хотели бы не только «воскресить» в своей памяти, но и вернуть назад. Объективная невозможность исправить непоправимое, вернуть необратимое делает нас безутешными. Чувства сожаления, раскаяния, стыда, тоски или скорби (подобно двуликому Янусу) выражают драматизм нашего сознания, переживающего невозможность как возможность, необратимость как обратимость и одновременно отдающего себе отчет в неосуществимости подобного *модуса операнди*. Сослагательное наклонение бросает вызов неукротимому времени и одновременно заставляет нас острее осознать, что жизнь дается нам лишь один-единственный раз, и этот дар никогда, во веки веков нельзя ни повторить, ни возобновить. Но если это так, то стоит ли пренебрегать этой единственной и неповторимой возможностью – нашей уникальной и неповторимой жизнью, осуществившейся вопреки другой, в миллионы раз более вероятной альтернативы – невозможности быть рожденным. И тот факт, что невзирая на столь ничтожный шанс мы все-таки появились на этом свете и смогли не только просуществовать, но и прожить достойную жизнь, можно считать *почти чудом*.

Материал поступил в редколлегию 14.07.2014 г.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Гайденко П.П. 1970. Трагедия эстетизма. М. : Искусство. 248 с.  
Гегель Г.В.Ф. 1935. Сочинения. Т. 8. Философия истории. М. ; Л. : Гос. соц.-экон. изд., 18 тип. треста «Полиграфкнига». 470 с.  
Достоевский Ф.М. 1982. Собрание сочинений. В 12 т. Т. 2. М. : Правда. 560 с.  
Кант И. 1965а. Сочинения. В 6 т. Т. 4, ч. 1. М. : Мысль. 544 с.  
Кант И. 1965б. Сочинения. В 6 т. Т. 4, ч. 2. М. : Мысль. 478 с.  
Кэрролл Л. Приключение Алисы в стране чудес [Электронный ресурс] / пер. Н. Демуровой. URL: <http://www.lib.ru/CARROLL/alisa.txt> (дата обращения: 09.02.2014).

Померанц Г.С. 1990. История в сослагательном наклонении // Вопр. философии. № 11. С. 55-66.

Соловьев Э.Ю. Категорический императив нравственности и права [Электронный ресурс]. URL: <http://www.neotolstovcy.narod.ru/soloviev-e-yu/kategoricheskiy-imperativ-nravstvennosti-i-prava.htm> (дата обращения: 09.02.2014).

Храмчихин А. Вторая мировая: сослагательное наклонение [Электронный ресурс]. URL: <http://www.magazines.russ.ru/znamia/2005/5/hra10.htm/> (дата обращения: 09.02.2014).

Эпштейн М. Что такое виртуальная книга? [Электронный ресурс]. URL: [http://www.emory.edu/INTELNET/es\\_virtual\\_books.html](http://www.emory.edu/INTELNET/es_virtual_books.html) (дата обращения: 09.02.2014).

Ясперс К. 1991. Смысл и назначение истории : пер. с нем. М. : Политиздат. 527 с.

Castoriadis C. 1993. *El mundo fragmentado. Encrucijadas del laberinto III*. Buenos Aires : Montevideo : Altamira y Nordan. 170 p.

Cortázar J. 2011. *Cuentos completos*. México : Santillana. 440 p.

Ferguson N. 1998. *Historia virtual*. Madrid : Taurus. 458 p.

Fromm E. 1997. *Anatomía de la destructividad humana*. México : Fondo de Cultura Económica. 557 p.

Gurméndez C. 1985. *Tratado de las pasiones*. México : Fondo de Cultura Económica. 281 p.

Hobsbawm E. 1998. *Sobre la historia*. Barcelona : Grijalbo Mondadori. 423 p.

### References

Carroll L. *Prikljuchenie Alisy v strane chudes* [Alice's Adventures in Wonderland], available at: <http://www.lib.ru/CARROLL/alisa.txt> (accessed 09 February 2014). (in Russ.).

Castoriadis C. *El mundo fragmentado. Encrucijadas del laberinto III* [World in Fragments], Buenos Aires, Montevideo, Altamira y Nordan, 1993, 170 p. (in Spanish).

Cortázar J. *Cuentos completos* [Complete Stories], México, Santillana, 2011, 440 p. (in Spanish).

Dostoevskij F.M. *Sobranie sochinenij. V 12 t. T. 2*. [Collected Works in 12 vol., vol. 2], Moscow, Pravda, 1982, 560 p. (in Russ.).

Ferguson N. *Historia virtual* [Virtual History: Alternatives and Counterfactuals], Madrid, Taurus, 1998, 458 p. (in Spanish).

Fromm E. *Anatomía de la destructividad humana* [The Anatomy of Human Destructiveness], México, Fondo de Cultura Económica, 1997, 557 p. (in Spanish).

Gaidenko P.P. *Tragedija jestetizma* [The Tragedy of Aestheticism], Moscow, Iskusstvo, 1970, 248 p. (in Russ.).

Gurméndez C. *Tratado de las pasiones* [Treatise of the Passions], México, Fondo de Cultura Económica, 1985, 281 p. (in Spanish).

Hegel G.V.F. *Sochinenija. T. 8. Filosofija istorii* [Works. Vol. 8. The Philosophy of History], Moscow, Leningrad, Gos. soc.-jekon. izd., 18 tip. tresta «Poligrafkniga», 1935, 470 p. (in Russ.).

Hobsbawm E. *Sobre la historia* [About the History], Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1998, 423 p. (in Spanish).

Hramchihin A. *Vtoraja mirovaja: soslagatel'noe naklonenie* [World War II: Subjunctive Mood], available at: <http://www.magazines.russ.ru/znamia/2005/5/hra10.htm/> (accessed 09 February 2014). (in Russ.).

Jaspers K. *Smysl i naznachenie istorii* [The Origin and Goal of History], Moscow, Politizdat, 1991, 527 p. (in Russ.).

Jepshtejn M. *Čto takoe virtual'naja kniga?* [What is a Virtual Book?], available at: [http://www.emory.edu/INTELNET/es\\_virtual\\_books.html](http://www.emory.edu/INTELNET/es_virtual_books.html) (accessed 09 February 2014). (in Russ.).

Kant I. *Sočinenija. V 6 t. T. 4, ch. 1* [Works in 6 vol., vol. 4, pt. 1], Moscow, Mysl', 1965, 544 p. (in Russ.).

Kant I. *Sočinenija. V 6 t. T. 4, ch. 2* [Works in 6 vol., vol. 4, pt. 2], Moscow, Mysl', 1965, 478 p. (in Russ.).

Pomeranc G.S. *Istorija v soslagatel'nom naklonenii* [History in the Subjunctive Mood], *Vopr. filosofii*, 1990, no. 11, pp. 55-66. (in Russ.).

Solov'ev Je.Ju. *Kategoričeskij imperativ npravstvennosti i prava* [Categorical Imperative of Morality and Law], available at: <http://www.neotolstovcy.narod.ru/soloviev-e-yu/kategoričeskij-imperativ-npravstvennosti-i-prava.htm> (accessed 09 February 2014). (in Russ.).

**Mijail A. Malishev**, Profesor-researcher, Autonomous University of the state of Mexico, member of editorial boards of the scientific journals: “Ciencia ergo sum”, “La Colmena”, “Coatepec” in Toluca, México [mijailmalychev@yahoo.com.mx](mailto:mijailmalychev@yahoo.com.mx)

## **PLUSPERFECT: VIRTUAL REVOLT AGAINST DESTINY**

*Abstract:* The author analyses the virtual discourse in the pluperfect. “We could have” is the recognition of irreversibility of time and simultaneously is the intent to see the past and its lost possibilities from the height of the present. The present never becomes what it was in the past, but the pluperfect never retracts from its claims to give lessons to the present about what could have happened, if the event would have been succeed in a different way. The author points out that if there were no difference between what we do and what we could do a lot of our emotions would disappear, such as shame, fault, remorse and grief. In the study of history it is also important to pay attention not only to what has been succeeded, but also to what could have been succeeded in the given period. This vision gives historian the possibility to analyze the past as the interaction of different social groups and struggle between them, which according to plans and projects in their past (which was the present for them), try to embody in the future what they considered to be more convenient, optimal and just.

*Keywords:* Pluperfect, virtual discourse, destiny, possibility, fault, history